



[Вернуться на сайт](#)

Глеб Горбовский

* * *

Адольфу Урбану

Разбавлю водку томатным соком
и пью несмело, украдкой, боком,
косясь на двери из тёмной кухни.
В квартире пусто. Никто не ухнет,
никто не влезет спросонья в душу.
... Я долго строил. Теперь я рушу.
Я строил песни, шкафы и семьи.
Был уважаем, хоть и не всеми.
Любил улыбки, сам улыбался.
Всё строил домик, а он ломался.
Вот говорят мне, что нездоров я,
а я-то знаю, что водка – с кровью!
А не томаты, ох, не томаты...
Здесь помидоры не виноваты.

1968

* * *

Вадиму Кожину

Я пойду далеко за дома,
за деревню, за голое поле.
Моё тело догонит зима
и снежинкою первой уколёт.

Заскрипит на морозе сосна,
под ногами рассыплется лужа.
Станет нежною сказкой весна,
станет былью жестокою стужа.

Буду я поспешать, поспешать.
Будут гулко стучать мои ноги.
А в затылок мне будет дышать
леденящая правда дороги.

1965

КТО ОН?

По дороге возле неба,
по остаткам гор и рек
пробирается нелепый,
нестандартный человек.
На устах его – улыбка,
за плечами – только тень.
По запарке, по ошибке
он не ест который день.
Он целует снег бесшумный,
у костра ласкает дым...
«Он – безумный, он – безумный!» –
кто-то каркает над ним.
...Ремешком к нему собачка
кое-как прикреплена.
«Эй, здорово, неудачник!» –
кто-то ляпнет из окна.
А ему одна забота:
улыбаться всем подряд...
«Идиот он, идиот он!» –
даже дети говорят.
В деревнях глухих, кондовых
все его – из века в век –
принимают за святого,
зывают на ночлег.
А иных проймёт досада:
«Кто – он?» – шепчут, пряча злость.
...Кто зажжёт цветы над садом?
А – никто... Само зажглось.

НА ТАНЦАХ

Евгению Евтушенко

Ты – танцуешь! И юбка летает...

Голова улеглась на погон.

И какая-то грусть нарастает
с четырёх неизвестных сторон.

Ударяет в литавры мужчина,
дует женщина страшно в трубу.

Ты ещё у меня молодчина,
что не плачешь, кусая губу.

Офицерик твой, мышь полевая,
спинку серую выгнул дугой.

Ничего-то он, глупый, не знает,
даже то, что он – вовсе другой...

г. Оха-на-Сахалине

1959

* * *

Превратиться в мелкий дождик,
зарядить на много дней...

И на город толстокожий
тихо падать меж огней.

Или трогать гриву леса,
еле листья шевеля.

Или нежностью небесной
гладить сонные поля.

Слиться с речкой безымянной,
целовать людей... Устать.

А затем в рассвет туманный
поредеть и перестать.

1966

* * *

Игорю Кузмичёву

Разорву воротник. Приспособлю под голову кочку.
В рот налью ледовитой небесной воды.
Я сегодня устал. Я едва дотащился до ночи.
Капли пота, как птицы, в колючих кустах бороды.
Я пишу эту песню широким размером сказаний.
Это зрелый размер. Это гомон дремучих лесов.
Я на солнце смотрю раскалёнными злыми глазами.
А затем закрываю глаза на железный засов.
И – живу. Тишина. Только кровь куролесит.
Зверь обходит меня, облетает меня вороньё.
Я – серьёзен. Я – камень. Я всё перетрогал и взвесил.
И всего тяжелее – раздетое сердце моё.

1962

В РЕСТОРАНЕ

– Если можно, принесите сигарет!
Уберите также крошки со стола.
А вот этот непочтительный брюнет –
почему он нависает, как скала?
Вы решили, что я сник и одинок.
Вы сказали, что я гопник – не поэт.
Я разбавлю вам горчицею вино...
Если можно, принесите сигарет!
Я вас очень попрошу курить под стол.
А иначе – я вам... что-нибудь спою.
Я сыграю вашей кепочкой в футбол!
Отойдите: я с утра не подаю.

...На столе салат завял, как овдовел.
В лимонаде молча сдохли пузыри.
На эстраде человечек заревел,
словно что-то вырвал – с корнем – изнутри!
Я встаю, слегка ощутив свой бюджет.
Уходи отсюда, Глебушка – дружок!

– Если можно, принесите сигарет...
А брюнету мы запишем тот должок.

1960

* * *

Был обвал. Сломало ногу.
Завалило – ходу нет.
Надо было бить тревогу,
вылезать на белый свет.
А желания притихли:
копошись – не копошись,
столько лет умчалось в вихре!
Остальное – разве жизнь?
И решил захлопнуть очи...
Только вижу: муравей!
Разгребает щель, хлопочет,
хоть засыпан до бровей.
Пашет носом, точно плугом,
лезет в камень, как сверло!
...Ах, ты, думаю, зверюга.
И – за ним.
И – повезло!

1971

КОЛОКОЛЬЧИК

Художнику Н. Подковыриной

Полевые цветы у обочин.
Раздвигаю живую траву.
Голубой нахожу колокольчик
и картины бывшего зову...

Всё мне видится: полдень морозный,
мерин землю копытами бьёт,
и ямщик – пожилой и серьёзный,
тот, который уже не поёт.

Всё мне слышится: в воздухе синем
колокольчик торопит домой!
И темнеет глазами Россия,
как река перед долгой зимой...

Всё мне верится: нет, не окончен
заколдованный путь ямщика...
Колокольчик ты мой, колокольчик...
Нет тревожнее в поле цветка.

1979

ЕСЕНИН. 80 ЛЕТ.

Могу представить Блока
согбенным стариком.
Жена белеет сбоку,
и тросточка – торчком.

Взрывной и непослушный,
в зигзагах бороды,
взбегает в старость Пушкин!
И сразу с ней – «на ты».

Бесстрашен и безбожен,
весь – затаенный крик! –
но всё ж представить можно,
что Лермонтов – старик...

И лишь один... с гитарой,
с оравой прихлебал,
не умещался в старость,
как я ни представлял.

То чубом, то глазами,
то песней завитой,
то всей резной Рязанью
не лез в парик седой.

Вот он стоит сквозь возраст,
и стать его пряма! –
под русскою берёзой,
как молодость сама.

Стоит, как крест над храмом,
как музыка земли...
И на душе – ни шрамов,
ни пятен... от петли.

1974

* * *

Пронзал и свет, и тьму.
Был даже в США.
А запил... почему?
А треснула душа!

От боли за страну,
от холода невзгод.
Вот и пошёл ко дну,
как старый пароход.

Теперь я, как во сне, –
в вине своей вины
сплю глубоко на дне...
Зато – какие сны!

У ШЛАГБАУМА

Он уезжает из России.
Глаза, как два лохматых рта,
глядят воинственно и сыто.
Он уезжает. Всё. Черта.
«Прощай, немытая...». Пожитки
летят блудливо на весы.
Он взвесил всё. Его ужимки –
для балагана, для красы.
Шумит осенний ветер в липах,
собака бродит у ларька.
Немые проводы. Ни всхлипа.
На злом лице – ни ветерка.
Стоит. Молчит. Спиной к востоку.
– Да оглянись разок, балда...
Но те берёзы, те восторги
его не тронут никогда.
Не прирастал он к ним травую,
колымским льдом – не примерзал.
– Ну, что ж, смывайся. Чёрт с тобою.
Россия, братец, не вокзал!
С её высокого крылечка
упасть впотьмах немудрено.
И хоть сиянье жизни вечно,
а двух Отечеств – не дано.

1975

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ ПИЛОТА

«Остаюсь на Земле!» –

эта надпись настолько внезапна!

На могиле пилота как явственный голос – строка...

И не дрогнет пропеллер у времени в ласковых лапах
на могиле пилота, одетой в мучные снега.

И хотя на снегу след к могиле тропой не вился,
ни царапины не было (разве что – птичий пунктир),
он лежал на Земле, на которой когда-то родился,
на которой успел полюбить этот бешеный мир!

Этот снег, этот лес... Эту птиц заводной балаганчик,
это мудрое небо и грустных – под старость – людей...

– «Остаюсь на Земле!» - очень правильно сказано, мальчик.

Жаль, что ты поспешил (этот дьявольский век скоростей).

Жаль, что нету цветов – для тебя...

Понимаешь, зима тут...

Всё ещё впереди (это я говорю о весне) ...

... И вращался пропеллер,
обнявшись в Землю крылатой,
и светились, как рыбы, иные миры в глубине.

Колыма

1973

* * *

Отверстые двери вчерашнего склада.
Внутри перед иконой мерцает лампада.
Ещё в этом складе – и сыро, и душно,
но можно затеплить свечу, если нужно.
Ещё здесь прохладно, как в затхлой пещере,
но можно уже отдышаться – и верить!
Пусть пахнет мышами и прелой картошкой,
но можно уже начинать понемножку
любить, и прощать, и терпеть, и дарить –
к воскресшему храму дорогу торить.

1992

ТОСТ

Дождь прошел – земля впитала.
Брызги... Только и всего.
Вот и Бродского не стало,
как не станет никого.
Он уехал – «Ах, куда вы?!»
К мисс Свободе под бочок.
Был он рыжий и картавый,
и певучий, как дьячок.
В Ленинграде возле церкви
проживал он, трезвый сплошь...
Был он ярким, был он цельным,
но... уехал – не вернёшь.
Помню, в дни его отъезда
мне он выделил трояк,
потому что я – не бездарь,
да и Бродский – не дурак.
Я ж на тот трояк заветный
в наши дни – без тени лжи –
тост слагаю – безответный –
на помин его души.

1996

* * *

Теперь, когда всё меньше сил,
всё круче бережок, –
я в сердце лампу погасил
и свечечку возжёт.

Тускнее книжек корешки,
а свет икон – видней.
И запьянцовские дружки
всё реже – в шуме дней.

...Свеча мертва. Её пенёк
погас. И страх велик.
Но жив лампадный огонёк!
А с ним – и Божий лик.

1997

ТРАВА ПОКАЯНИЯ

Васильевский остров

Да, всё оказалось не просто:
разруха в судьбе и в стране.

Родимый Васильевский Остров,
должно быть, забыл обо мне...

Туда, где рассветы нетленны,
где Ладогой дышит Нева, –
меня не пускают сирены,
сосущие мозг существа!..

Скитаясь по странам и весям,
я гимнов уже не пою.
Шепчу я уставшие песни,
питавшие юность мою...

Погодка свистит продувная,
душа коченеет и плоть...
И всех, кто меня вспоминает,
спаси и помилуй Господь!

1994